



МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН

Pestis eram vivus — moriens tua mors ero¹.

Martin Luther

Ужас и рок шествовали по свету во все века. Стоит ли тогда говорить, к какому времени относится повесть, которую вы сейчас услышите? Довольно сказать, что в ту пору во внутренних областях Венгрии тайно, но упорно верили в переселение душ. О самом этом учении — то есть о ложности его или, напротив, вероятности — я говорить не стану. Однако же я утверждаю, что недоверчивость наша по большей части (а несчастливость, по словам Лабрюйера, всегда) «vient de ne pouvoir être seule»².

Но суеверие венгров кое в чем граничило с нелепостью. Они — венгры — весьма существенно отличались от своих восточных учителей. Например, душа, говорили первые (я привожу слова одного проникательного и умного парижанина), «ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»³.

Веками враждовали между собою род Берлифитцингов и род Метценгерштейнов. Никогда еще жизнь двух столь славных семейств не была отягощена враждою столь ужасной. Источник этой розни кроется, пожалуй, в словах древнего пророчества: «Высоко рожденный падет низко, когда, точно всадник над конем, тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берлифитцингов».

¹ При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью (*лат.*).

Мартин Лютер.

² Происходит от того, что мы не умеем быть одни (*фр.*).

³ Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика (*фр.*).

Разумеется, слова эти сами по себе мало что значили. Но причины более обыденные в самом недавнем времени привели к событиям столь же непоправимым. Кроме того, земли этих семейств соприкасались, что уже само по себе с давних пор рождало соперничество. К тому же близкие соседи редко состоят в дружбе, а обитатели замка Берлифитцинг со своих высоких стен могли заглядывать в самые окна дворца Метценгерштейн. И едва ли не королевское великолепие, которое таким образом открывалось их взорам, менее всего способно было успокоить ревнивые чувства семейства не столь древнего и не столь богатого. Можно ли тогда удивляться, что, каким бы нелепым ни было то прорицание, оно вызвало и поддерживало распрю двух родов, которые, подстрекаемые соперничеством, переходящим из поколения в поколение, и без того непременно должны были бы враждовать. Пророчество, казалось, лишь предрекло — если оно вообще предрекло что бы то ни было — окончательное торжество дома, и без того более могущественного, а домом слабейшим и менее влиятельным вспоминалось, конечно же, с горькою злобой.

Высокородный Вильгельм, граф Берлифитцинг, в ту пору, о которой идет рассказ, был дряхлым, впавшим в детство стариком и отличался единственно неумеренной и закоренелой неприязнью к семье своего соперника и столь страстной любовью к лошадям и охоте, что ни дряхлость тела, ни преклонный возраст, ни ослабевший ум не мешали ему всякий божий день подвергать себя опасностям полеванья.

Фредерик, барон Метценгерштейн, напротив того, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер молодым. Мать, баронесса Мария, ненадолго пережила своего супруга. Фредерику в ту пору шел девятнадцатый год. В городе восемнадцать лет — срок недолгий, на приволье же, да еще столь великолепном, каким было старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла.

Благодаря некоторым особым обстоятельствам юный барон стал полновластным хозяином громадных богатств сразу же после смерти своего отца. Мало у кого из венгерских вельмож были такие имения. Замкам его не было числа. Но самым большим и самым великолепным был дворец Метценгерштейн. Пределы его владений никогда не были в точности обозначены, но граница главного парка протянулась на пятьдесят миль.

В том, как поведет себя новый владелец, такой юный, с характером так хорошо известным, получив столь беспримерное богатство, мало у кого были сомнения. И разумеется, в первые же три

дня наследник дал себе полную волю и превзошел самые смелые ожидания самых горячих своих поклонников. Бесстыдный разгул, вопиющее вероломство, неслыханные жестокости быстро показали его трепещущим вассалам, что ни рабская их покорность, ни голос совести не послужат им отныне защитой от безжалостных когтей маленького Калигулы. В ночь на четвертый день загорелись конюшни замка Берлифитцинг, и вся округа единодушно присовокупила этот поджог к и без того чудовищному списку беззаконий и злодеяний барона.

Но во время суматохи, вызванной этим происшествием, сам юный вельможа сидел, погруженный в глубокое раздумье, в огромной и мрачной зале в верхнем этаже родового дворца Метценгерштейнов. На пышных, хотя и выцветших гобеленах, что висели по стенам, смутно проступали величественные фигуры множества прославленных предков. Здесь облаченные в горностаи епископы и кардиналы, как равные сидя рядом с властителем монархов, накладывают вето на желания какого-нибудь земного владыки либо именем верховной власти самого папы обуздывают дерзновенного врага рода человеческого. Там статные сумрачные князья Метценгерштейны — их могучие боевые кони топчут поверженных врагов, а решительное выражение их лиц способно испугать человека даже с весьма крепкими нервами; а вот исполненные неги и гибкие, как лебеди, дамы давних времен уплывают в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.

Но пока барон прислушивался или делал вид, что прислушивается к нарастающему в конюшнях Берлифитцинга шуму, а быть может, замышляя новое, еще более дерзкое злодейство, взгляд его, скользивший по гобеленам, упал на огромного, необычайной масти коня, который принадлежал какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь изображен был на переднем плане, и был он недвижим, точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метценгерштейна.

Когда Фредерик понял, на чем случайно задержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка. Однако же он не отвел глаз. Напротив, он никак не мог понять, что за неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу, с трудом осознал он, что, несмотря на смутные бессвязные свои ощущения, он не спит, а бодрствует. Чем дольше смотрел он, тем больше поддавался чарам, и, казалось, никогда уже ему не оторвать заворуженного взгляда от гобелена. Но шум и крики за окном вдруг сделались громче, и он с усилием заставил себя взглянуть на алые отблески, что отбрасывало на окна пламя, охватившее конюшни.

Однако уже в следующий миг взгляд его вновь невольно обратился на тот же гобелен. К величайшему его ужасу и удивлению, голова гигантского коня тем временем изменила положение. Шея его, прежде склоненная словно бы сочувственно над распростертым телом господина, теперь вытянулась в сторону барона. Глаза, прежде невидные, сейчас смотрели осмысленно, совсем по-человечески, и в них странно мерцал яростный багровый огонь; а губы рассвирепевшего коня растянулись, обнажая отвратительный мертвый оскал.

Пораженный ужасом, молодой барон, птаясь, устремился к двери. Распахнул ее, и тотчас в комнату ворвался красный свет и отбросил тень барона на затрепетавший гобелен; на мгновение замешкавшись на пороге, он со страхом увидел, что она в точности совпала с очертаниями безжалостного и торжествующего убийцы, вонзившего кинжал в сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеять странный испуг, барон поспешно вышел на воздух. У главных ворот дворца он столкнулся с тремя конюшими. С великим трудом и с опасностью для жизни они сдерживали судорожно рвущегося из рук гигантского огненно-рыжего коня.

— Чей конь? Откуда он у вас? — хрипло, запальчиво спросил юноша, ибо он вдруг увидел, что это взбешенное животное — двойник загадочного коня на гобелене.

— Конь ваш, ваша светлость, — отвечал один из конюших, — по крайней мере никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он вынесся из горящих конюшен Берлифитцинга, бока у него курились, на губах пена. Мы подумали, он графский, из конюшни чужеземных коней, и отвели его назад. Но там конюхи его не признали. Странно это, ведь сразу видно, что он вырвался прямо из огня.

— И на лбу у него клеймо, очень четкое, УФБ, — вмешался второй конюший. — Вероятно, Уильям фон Берлифитцинг, но в замке все как один уверяют, будто никогда этого коня и в глаза не видали.

— Очень странно! — в недоумении сказал молодой барон, явно не задумываясь над смыслом своих слов. — Ведь и вправду удивительный, редкостный конь! Хотя, как вы весьма справедливо заметили, нрав у него подозрительный и непослушный. Что ж, пускай будет мой, — прибавил он, помолчав. — Быть может, Фредерик Метценгерштейн сумеет обуздать самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

— Вы ошиблись, ваша светлость. Мы уже говорили: лошадь эта не из конюшен графа. Будь она оттуда, мы бы не посмели привести ее пред глаза вашей светлости.

— В самом деле, — сухо заметил барон, и в этот миг из замка выбежал паж.

Он шепнул на ухо господину, что в верхней зале внезапно исчезла часть гобелена; сообщил также и подробности, но поведал он их едва слышным шепотом, так что ни одна не достигла ушей конюшних, чье любопытство было сильно возбуждено.

Фредерик слушал, и его, казалось, обуревали самые разные чувства. Однако же скоро к нему вновь вернулось самообладание, и, когда он властно приказал немедленно запретить залу, о которой шла речь, и ключ отдать ему в собственные руки, лицо его выражало злую решимость.

— Вы слышали о неожиданной смерти старого Берлифитцинга? — спросил барона один из его вассалов, когда, после ухода пажа, могучий конь, которого этот вельможа согласился счесть своею собственностью, стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллее, ведущей от дворца к конюшням Метценгерштейна.

— Нет! — отвечал барон, резко оборотясь к говорящему. — Умер, вы говорите?

— Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Метценгерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие.

На губах барона промелькнула улыбка.

— Какою смертью он умер?

— Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода и сам погиб в пламени.

— Вот так! — промолвил барон, словно бы не вдруг освоясь с мыслью, сильно его взволновавшей.

— Вот так, — подтвердил вассал.

— Ужасно! — хладнокровно сказал юноша и спокойно вошел в свой дворец.

С этих пор в поведении беспутного молодого барона Фредерика фон Метценгерштейна произошла разительная перемена. Он, право же, обманул ожидания всех и вся и, на взгляд бесчисленных маменек, повел себя престранно; привычками своими и манерами он еще меньше, нежели прежде, походил теперь на своих аристократических соседей. Никто отныне никогда не встречал его за пределами его владений, и, несмотря на широкое знакомство, он все свое время проводил в полном одиночестве, разве только странный, неподатливый огненно-рыжий конь, с которого он теперь почти не слезал, по какому-то загадочному праву мог называться его другом.

Однако же он еще долгое время получал множество приглашений от соседей: «Не почтит ли барон наш праздник своим при-

сутствием?», «Не соблаговолит ли барон принять участие в охоте на вепря?» «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не придет», — надменно и коротко отвечал он.

Гордая знать не желала мириться со столь оскорбительной заносчивостью. Приглашения становились все менее радушными, приходили все реже, а со временем и вовсе прекратились. Говорят, вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразила надежду, что барону придется сидеть дома и тогда, когда ему совсем этого не захочется, ибо он презрел общество ровни, и придется скакать верхом, когда у него не будет к тому охоты, ибо он предпочел общество коня. Это, разумеется, была лишь весьма неумная вспышка наследственной розни; и она лишь доказывает, сколь бессмысленны бывают наши речи, когда мы желаем придать им особую силу.

Люди добросердечные объясняли, однако, перемену в поведении молодого вельможи вполне естественным горем сына, потрясенного безвременной смертью родителей, — они забывали при этом, как бессердечно и безрассудно вел он себя первое время после тяжелой этой утраты. Кое-кто полагал даже, что барон чересчур возомнил о своей особе и положении. Другие же (среди них можно назвать домашнего врача) уверенно говорили о склонности барона к болезненной меланхолии и о наследственной слабости здоровья; но большинство обменивалось зловещими намеками.

Упрямую привязанность барона к недавно приобретенному скакуну, привязанность, которая, кажется, становилась сильнее с каждым новым проявлением свирепой, демонической натуры этого животного, люди здравомыслящие в конце концов, конечно же, сочли чудовищной и зловещей страстью. Среди бела дня или в глухой час ночи, здоров ли он был или болен, в ясную погоду или в бурю молодой Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу гигантского коня, чья неукротимая дерзость так отвечала его собственному нраву.

Существовали еще к тому же обстоятельства, которые вместе с недавними событиями придавали сверхъестественный и опасный смысл одержимости наездника и свойствам коня. Было тщательно измерено расстояние, которое конь преодолевал одним прыжком, и оказалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым воображением. Кроме того, барон не назвал этого скакуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его также находилась в отдалении от остальных; а кормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стойло не отваживался никто, кроме самого владельца.

Надо еще заметить, что, хотя трое конюших, которые поймали жеребца, когда он спасался из объятых пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его с помощью уздечки и аркана, однако же ни один не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной схватки или когда-либо после он коснулся самого коня. Проявления редкостного ума в повадках благородного и резвого животного не должны были бы возбудить особых толков, но некоторые обстоятельства взбудоражили даже самых недоверчивых и равнодушных, и, говорят, иной раз целая толпа, собравшаяся поглазеть на диковинного коня, паралахалась в ужасе, словно чувствовала, что неспроста он так свирепо бьет копытом, и даже молодой Метценгерштейн, случалось, бледнел и съеживался под его пронзительным, испытующим, совсем человеческим взглядом.

Среди многочисленной свиты барона никто, однако, не сомневался в пылкости той необыкновенной любви, которую молодой вельможа питал к буйному, норовистому коню; никто, кроме ничтожного и уродливого маленького пажа, чье уродство всем бросалось в глаза и чьи слова никто ни во что не ставил. У него хватало дерзости утверждать (если мнение его вообще заслуживает быть упомянутым), что всякий раз, как господин его вспрыгивал в седло, по его телу проходила непонятная, едва заметная дрожь; и всякий раз, как он возвращался с обычной своей долгой прогулки, лицо его было искажено злобным торжеством.

Однажды бурной ночью, очнувшись от тяжелой дремоты, Метценгерштейн точно безумный выбежал из своей спальни и, поспешно вскочив в седло, усакал в лесную чащу. Так бывало не раз, и потому никто не обеспокоился, а вот возвращения его домочадцы на сей раз ожидали в большой тревоге, ибо через несколько часов после его отъезда могучие и величественные стены дворца Метценгерштейна треснули до самого основания и зашатались, охваченные синева-багровым неукротимым пламенем.

Когда огонь впервые заметили, дворец уже весь поыхал, и любые усилия спасти хоть какую-то его часть были, несомненно, обречены на неудачу, так что ошеломленные соседи праздно стояли вокруг и молча, хотя и сокрушенно, дивились происходящему. Но в скором времени новое и страшное зрелище приковало внимание собравшихся и доказало, что человеческие муки потрясают чувства толпы куда глубже, нежели самая страшная гибель предметов неодушевленных.

На аллею, обсаженную могучими дубами, что вела из лесу прямо к дворцу Метценгерштейна, стремительно, точно сам мятежный дух бури, вылетел конь, неся смятенного всадника.

Бесспорно, не всадник направлял эту неистовую скачку. Лицо его выражало муку, тело напряглось в сверхчеловеческом усилии, в кровь искусаны были губы, но лишь однажды вырвался у него короткий, пронзительный крик ужаса. Мгновение — и в реве огня и вое ветра отчетливо и резко простучали копыта, еще мгновение, и, одним прыжком перенесясь через ворота и ров, конь вскочил на готовую рухнуть лестницу дворца и вместе с всадником исчез в бушующих вихрях пламени.

И сразу же буря утихла, и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя все еще, точно саваном, окутывало дворец и, устремившись в безмятежную высь, озарило все окрест каким-то сверхъестественным светом, а над зубчатыми крепостными стенами тяжело нависло облако дыма, в очертаниях которого явственно угадывался гигантский конь.

БЕЗ ДЫХАНИЯ

(рассказ не из «Блэквуда» и не для него)

О, не дыши... и т. д.
«Мелодии» Мура

Самая прискорбная неудача в конце концов должна отступить перед несгибаемым мужеством философии подобно тому, как самая стойкая крепость сдается перед непрестанным натиском противника. Как известно из Святого Писания, Салманассар три года осаждал Самарию, пока она не пала. Диодор сообщает нам, что Сарданапал семь лет осаждал Ниневию, но все его усилия оказались тщетны. Троя угасла на исходе второго пятилетия, а Азот — в чем Аристей ручается своей честью джентльмена — наконец открыл ворота Псамметиху, продержав их закрытыми целых двадцать лет.

— Ах ты, дрянь!.. Ах ты, негодница!.. Ах ты, мегера!.. — обратился я к своей жене наутро после нашей свадьбы. — Ах ты, ведьма!.. Ах ты, карга!.. Ах ты, мразь!.. Ах ты, порочная стерва!.. Ах ты пучеглазая уродина!.. — ты... — ты...

Поднявшись на цыпочки, схватив ее за горло и приблизив губы к ее уху, я уже собирался разразиться новым, еще более совершенным оскорбительным эпитетом, который (если бы он был произне-

сен) несомненно убедил бы ее в своем полном ничтожестве. Но тут, к своему крайнему ужасу и изумлению, я обнаружил, что у меня перехватило дыхание.

Фразы вроде «у меня дух сперло», «у меня перехватило дыхание» и т. д. достаточно часто встречаются в обычном разговоре, но мне никогда не приходило в голову, что кошмарный инцидент, о котором идет речь, мог случиться *bona fide*¹ и на самом деле! Представьте — если у вас живое воображение, — итак, представьте себе мой испуг и мое отчаяние!

Однако есть добрый гений, который никогда полностью не покидает меня. В своих самых необузданных страстях я все же сохраняю чувство приличия — *et le chemin des passions me conduit a la philosophic veritable*², как говорит лорд Эдуард в «Юлии».

Хотя сначала я не мог точно определить, до какой степени это происшествие повлияло на меня, я решил в любом случае скрыть его от моей жены, пока дальнейшие наблюдения не раскроют подлинный размер моего неслыханного бедствия. Моментально стерев со своего искаженного лица следы недавней ярости, я придал ему выражение кокетливого добродушия и приятного лукавства, похлопал жену по щеке, поцеловал в другую, и, не вымолвив ни звука, — о, Фурии! я и не мог этого сделать! — оставил ее, пораженную моим чудачеством, и выпорхнул из комнаты легким *pas de zephyr*.

Итак, узрите меня в надежном укрытии моего будуара, являющего собой ужасный пример злополучных последствий раздражительности — живого, но со свойствами мертвеца — мертвого, но с предрасположениями живого человека, — аномалию на лике земном, очень спокойного, но бездыханного.

О да, бездыханного! Я серьезно утверждаю, что перестал дышать. Мое дыхание не пошевелило бы и перышка, если бы моя жизнь зависела от этого, и даже не затуманило бы гладкую поверхность зеркала. Жестокая участь!.. однако в первом ошеломительном приступе моей скорби нашлось некоторое успокоение. Пробным способом я выяснил, что дар речи, который, в силу моей неспособности продолжить беседу с женой, я считал полностью утраченным, на самом деле оказался лишь частично нарушенным. Мне удалось обнаружить, что если бы я в момент этого любопытного кризиса понизил голос до особенно глубокого гортанного тона, то смог бы, невзирая ни на что, продолжить описание своих чувств к ней. Как я узнал, такая высота тона зависит не от движения

¹ Здесь: без обмана (*лат.*).

² И дорога страстей ведет меня к истинной философии (*фр.*).

воздуха, а от спазматического сокращения определенных горловых мышц.

Упав в кресло, я на некоторое время погрузился в глубокое раздумье. По правде говоря, мои размышления были неутешительными. Тысячи смутных и горестных фантазий завладели моей душой, и промелькнула даже мысль о самубийстве, но извращенной человеческой натуре свойственно отвергать близкое и очевидное в пользу далекого и сомнительного, поэтому я отказался от самоубийства как от самого бесспорного злодеяния. Между тем полосатая кошка прилежно мурлыкала на коврике, а собака-водолаз усердно сопела под столом; каждый из них демонстрировал силу своих легких, очевидно, в насмешку над моей дыхательной недостаточностью.

Угнетенный сумятицей неясных страхов и надежд, я наконец услышал шаги моей жены, спускавшейся по лестнице. Убедившись в ее отсутствии, я с замиранием сердца вернулся на место недавней катастрофы.

Я тщательно запер дверь изнутри и приступил к энергичным поискам. Возможно, думал я, предмет моих изысканий находится в каком-нибудь темном уголке, в стенном шкафу или в ящике стола. Он может быть паробразным или даже иметь осязаемую форму. Большинство философов до сих пор придерживаются далеко не философских взглядов на многие вопросы философии. Однако Уильям Годвин говорит в своем «Мандевилле», что «невидимые вещи — это единственная реальность», и это, как все согласятся, относится к моему случаю. Я бы предостерег рассудительных читателей от того, чтобы обвинять подобные утверждения в чрезмерной нелепости. Как известно, Анаксагор утверждал, что снег черный, и я не раз обнаруживал, что это действительно так.

Я долго и усердно продолжал свои поиски, но презренной наградой за мое трудолюбие и настойчивость была лишь фальшивая вставная челюсть, вставной глаз, два турнюра и несколько *billet-doux*¹ от мистера Воздыхателя, адресованных моей жене. Здесь я должен отметить, что такое свидетельство сердечной склонности моей супруги к мистеру В. не причинило мне особого неудобства. То, что миссис Бездыханная должна восхищаться любым существом, так не похожим на меня, было естественным и необходимым злом. Как известно, я человек крепкого и дородного телосложения, хотя и невысокого роста. Стоит ли удивляться, что худоба моего знакомого, в профиль похожего на жердь, и его высокий рост,

¹ Любовных записок (*фр.*).

который вошел в поговорку, получили должную оценку в глазах миссис Бездыханной? Но вернусь к моей истории.

Как я уже говорил, мои усилия оказались бесполезными. Шкаф за шкафом, ящик за ящиком и угол за углом подверглись досмотру, но все было тщетно. Впрочем, однажды мне показалось, что заветная цель достигнута, когда я, роясь в дорожном несессере, случайно разбил бутылочку гранжановского «Елея архангелов», который беру на себя смелость рекомендовать вам как весьма приятные духи.

С тяжелым сердцем я вернулся в свой будуар и стал думать, как обмануть проницательность моей жены, прежде чем я успею предпринять все необходимое для отъезда за границу — это я уже считал делом решенным. Никому не известный, в чужом климате, я с некоторой вероятностью успеха мог скрывать свое бедственное положение, которое в еще большей степени, чем нищета, могло отвратить симпатии толпы и навлечь на меня вполне заслуженное возмущение людей добродетельных и счастливых. Будучи смышленным от природы, я когда-то выучил наизусть всю трагедию «Метамора». Мне посчастливилось вспомнить, что в репликах персонажей этой драмы — или, по крайней мере, той ее части, которая составляет роль героя, — совсем не нужны оттенки голоса, более не свойственные мне, и вся она произносится монотонным гортанным тоном.

Некоторое время я практиковался на краю одного вовсе не безлюдного болота; при этом мои занятия не напоминали сходные упражнения Демосфена, а проводились по собственному добросовестно разработанному методу. Вооруженный со всех сторон, я стремился заставить мою жену поверить в то, что меня внезапно охватила страсть к сценическому искусству. В этом мне удалось добиться чудесных успехов. Теперь я не стеснялся отвечать на любой вопрос или предложение квакающим замогильным голосом и приводил какую-нибудь цитату из трагедии, — к своему большому удовольствию, я вскоре обнаружил, что любая реплика оттуда в равной мере хорошо подходит к любой выбранной теме. Однако не следует полагать, что при исполнении этих пассажей я вовсе обходился без косых взглядов, оскаливания зубов, дрожи в коленках и шарканья ногами, или же любого из тех неопишимо выразительных жестов, которые по праву считаются атрибутами популярного актера. По правде говоря, меня даже хотели упрятать в смирительную рубашку, но — слава богу! — меня так и не запоздрили в утрате дыхания.